



ЗАПИСКИ

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ

*Блокада  
Ленинграда*

# БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА

\* Были долгие месяцы, когда мир ушел из окон,  
покрывшихся слоем льда.



Блокадная книга

Лидия Гинзбург

**Записки блокадного человека**

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-82  
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

**Гинзбург Л. Я.**

Записки блокадного человека / Л. Я. Гинзбург — «Издательство АСТ», 2020 — (Блокадная книга)

ISBN 978-5-17-134166-4

Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990) – выдающийся русский писатель и известный литературовед, чьи произведения изучают в вузах. Они представляют собой большой интерес для всех ценителей истории русской литературы и поэзии. Произведение «Записки блокадного человека» представляет собой одно из ценных свидетельств пограничного опыта человека, оказавшегося в блокадном городе. И этот человек – женщина в ее повседневной действительности. В тексте автор постоянно обращается к оппозиции женского и мужского взглядов на происходящее. Вторую часть книги занимает «Проза военных лет», куда входят произведения, написанные в 1942–1945 годах. Они относятся к тому роду словесности, который Гинзбург позднее назвала «промежуточной литературой», поскольку он одновременно объединяет в себе и документальное, и художественное начало. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.161.1-82  
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

ISBN 978-5-17-134166-4

© Гинзбург Л. Я., 2020  
© Издательство АСТ, 2020

## Содержание

Записки блокадного человека	6
Конец ознакомительного фрагмента.	20

# **Лидия Гинзбург**

## **Записки блокадного человека**

© Л.Я. Гинзбург, наследники, 2020

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2021

\* \* \*



## Записки блокадного человека

В годы войны люди жадно читали «Войну и мир», – чтобы проверить себя (не Толстого, в чьей адекватности жизни никто не сомневался). И читающий говорил себе: так, значит, это я чувствую правильно. Значит, оно так и есть. Кто был в силах читать, жадно читал «Войну и мир» в блокадном Ленинграде.

Толстой раз навсегда сказал о мужестве, о человеке, делающем общее дело народной войны. Он сказал и о том, что захваченные этим общим делом продолжают его даже непроизвольно, когда они, казалось бы, заняты решением своих собственных жизненных задач. Люди осажденного Ленинграда работали (пока могли) и спасали, если могли, от голодной гибели себя и своих близких.

И в конечном счете это тоже нужно было делу войны, потому что наперекор врагу жил город, который враг хотел убить.

Об этом кое-что здесь рассказано.

Мне нужно было показать не только общую жизнь, но и блокадное бытие одного человека. Это человек суммарный и условный (поэтому он именуется Эн), интеллигент в особых обстоятельствах.

День ленинградской весны 1942-го. Впрочем, слово «весна» звучало странно. Хлебный паек повысили, по размороженным улицам нерешительно ходили трамваи. Немцы перестали бомбить, но каждый день, несколько раз в день обстреливали город. Самые сильные и жизнеспособные уже умерли или выжили. Хилые продолжали замедленно умирать. Слово «весна» звучало странно.

Просыпается Эн, блокадный человек, по состоянию зрения не подлежащий мобилизации. Прошлым летом он просыпался иначе – всегда в шесть утра, от звука репродуктора, для общего пользования установленного в коридоре. Потом, уже по привычке, он стал просыпаться за десять-пятнадцать минут и лежал, прислушиваясь. Минуты за три, не утерпев, он в пижаме выходил в коридор. Там стояли уже соседи, полуодетые, с жадно-напряженными лицами. Казалось, если диктор своим всегдашним неестественным голосом перечислит радиостанции – это значит, сегодня ничего не случилось особенного... Эн знал – это аберрация, и не мог от нее отделаться. Впрочем, все начиналось не диктором, а коротенькими звонами и паузами, выводившими звуковую фигуру. Никогда мы не слышали более печального звука. Потом перечисление радиостанций с его хрупкой аберрацией стабильности. Наконец, страшно короткая информация (казалось, они становятся все короче), в те дни состоявшая из направлений. И люди с задыхнувшимся сердцем стояли у репродукторов, принимая очередное направление. Диктор говорил неестественно медленно, и можно было считать секунды, отделявшие слово от слова, населенный пункт от населенного пункта. Направление... Люди знали – потом будет лужское, потом... Так было летом 1941-го.

Страшная была жадность на информацию. Пять раз в день люди бежали к репродуктору, прерывая любые дела. Они бросались на каждого человека, который хоть на шаг был ближе, чем они, к фронту, или к власти, или к источникам информации. А расспрашиваемый сердился на бестолковые вопросы. Потому что спрашивающие хотели узнать совсем не то, о чем они спрашивали. Они хотели узнать, как это бывает, когда война, как это будет...

Отличительной чертой первых дней было это неведение, странным образом смешанное с долгой подготовкой, с долголетним внушением мысли о неизбежности и сокрушительной тотальности события.

Каждый, кто его прожил, помнит свой первый день войны. Воскресенье. Небольшая очередь у пригородной кассы. Рука берет сдачу и картонный прямоугольник билета. И в самый этот миг голос, как будто удивленный (или это не удивление?):

– Там Молотов говорит... Он что-то такое говорит...

Люди уже столпились на подъезде вокзала. Выходили из репродуктора слова, и каждое, независимо от своего смысла, было контейнером предлежащей муки, огромной, всенародной муки. Кончилась речь. Возвращаюсь домой, до боли прижимаю к ладони билет, купленный в пригородной кассе. Там сегодня меня долго ждут на перроне и не дождутся. Не прошло и получаса, а нас уже неудержимо относит от довоенного строя чувств.

Возвращаюсь домой по улицам, будто еще довоенным, среди предметов еще довоенных, но уже изменивших свое значение. Еще нет ни страдания, ни смертной тоски, ни страха; напротив того, – возбуждение и граничащее с легкостью чувство конца этой жизни.

В первый миг совершающегося события показалось, что нужно куда-то ужасно спешить и что ничто уже не может быть по-прежнему. Потом оказалось, что многое пока по-прежнему. Еще ходят трамваи, выплачивают гонорары, в магазинах торгуют обыкновенными вещами. Это удивляло. Чувство конца прежней жизни было сперва столь нестерпимо сильным, что сознание, минуя все промежуточное, полностью сосредоточилось на развязке. В неслыханных обстоятельствах оно не хотело метаться; ему хотелось быть суровым и стойким. Самые неподготовленные не нашли для этого других средств, как сразу начать с конца и примериться к собственной гибели. Они честно говорили друг другу: «Что ж, среди всего неясного самое ясное – мы погибли». Недели две им казалось, что это проще всего остального и что они относятся к этому довольно спокойно. Потом уже выяснилось, что погибнуть труднее, чем это кажется с первого взгляда. И они же потом с усилием, по частям, вырывали свою жизнь у дистрофии, а многие из них сознательно или бессознательно делали общее дело.

Потом репродуктор стали слушать иначе. Обыденнее. Выветрилось это сочетание крайне личного (каждому репродуктор вещает судьбу) с исторически событийным и эпохальным. Чаша сия никого не миновала, все узнали – какая бывает война. Образовалась новая действительность, небывалая, но и похожая на прежнюю в большей мере, чем это казалось возможным. В ней надо было разобраться. Людям казалось теперь, что судьба их решается не формулами диктора, но фактами гораздо более дробными и близлежащими: занятием пункта Н., батареей, установленной в Лигове, прорвавшейся баржой с хлебом. Зимой же утреннее пробуждение – уже только включение в ряд возобновляемых страданий, длящихся до нового сна.

Ремарк в свое время построил роман на том, что сводка гласила: «На Западном фронте без перемен» – в тот самый день, когда на этом фронте погиб его герой. Типовое проявление того индивидуалистического пацифизма, который стал реакцией на первую мировую войну. Люди этих лет (особенно западные) не хотели понимать, что социальная жизнь есть взаимная социальная порука (иначе она только гнет и насилие). Мы же знали, что про тот день, когда любого из нас убьет гитлеровским осколком, – где-нибудь будет сказано: «Ленинград под вражескими снарядами жил своей обычной трудовой и деловой жизнью». Зато каждый здесь говорил: мы окружаем Харьков, мы взяли Орел... Войска ворвались, закрепились, продвинулись... За формулами суммированных действий – тысячи единичных людей, которые в них участвовали, погибли и не пожнут плодов. А за ними – еще миллионы, которые не участвовали, но плоды пожнут. Что за дело до всего этого погибающим и зачем это им? Незачем. Разумеется, незачем. Только с точки зрения религии мертвому что-нибудь может быть нужно. Но это нужно живому. Живые питаются кровью. Одни как паразиты, другие как честные гости на пиру, ответившие предложением собственной крови. В уклонившихся чувство неполноценности не заглушают ни доводы себялюбия, ни соображения насчет того, что они полезнее на другом участке, ни утверждение своей творческой избранности. Не следует только думать, что понимание законов связи избавило понимающих от практики эгоизма, триумфально ввело их в героическое жизнеощущение. Для неподготовленных законы эти оставались ужасными и теоретически непосильными.

В обстоятельствах блокады первой, близлежащей ступенью социальной поруки была семья, ячейка крови и быта с ее непреложными требованиями жертвы. Скажут: связи любви и крови облегчают жертву. Нет, это гораздо сложнее. Так болезненны, так страшны были прикосновения людей друг к другу, что в близости, в тесноте уже трудно было отличить любовь от ненависти – к тем, от кого нельзя уйти. Уйти нельзя было – обидеть, ущемить можно. А связь все не распадалась. Все возможные отношения – товарищества и ученичества, дружбы и влюбленности – опадали как лист; а это оставалось в силе. То корчась от жалости, то проклиная, люди делили свой хлеб. Проклиная, делили, деля, умирали. Уехавшие из города оставили оставшимся эти домашние жертвы. И недостаточность жертв (выжил – значит, жертвовал собой недостаточно), а вместе с недостаточностью – раскаяние.

Сейчас начинается лето. Благосклонное, нежаркое лето. Каждый день, просыпаясь, Эн испытывает удивительное, еще не изжитое чувство отсутствия страданий. Это первое впечатление дня – и самое лучшее. Ноги, руки спокойно лежат на диване, довольно гладком и мягком. Окно открыто. Ему не холодно, не жарко. Вокруг светло. И светло будет всегда, всю белую ночь напролет. Ему даже не хочется есть. Это, впрочем, уже готовится, это где-то присутствует всегда (как во влюбленном любви); но об этом пока можно не думать. Эн отбрасывает простыню, подставляя тело светлому, легкому, не холодному, не жаркому воздуху.

Но Эн знает – стоит повернуться на левый бок, к комнате лицом, и он увидит поджидающий его хаос (тогда, впрочем, гуманитары не толковали еще об организации, информации и энтропии). Бытовое столпотворение – тарелка с окурками, выброшенная хаосом из своих недр, пиджак на футляре заглохшей пишущей машинки. Почему? Потому, что бессильная дрожь раздражения овладела вчера усталым человеком, и он не смог донести пиджак до более подходящего места. Вещи вообще сползли со своих мест, они мутные, с размытыми границами (значит, без формы). Только на прижатых к стене стеллажах в странном мертвом порядке стоят посеревшие книги. Все же вещи частью вернули себе свое назначение. Не то что зимой...

Враждебный мир, наступая, выдвигает аванпосты. Ближайшим его аванпостом оказалось вдруг собственное тело. Теперь передышка, а зимой оно было вечной потенцией страданий – со своими все новыми углами и ребрами, особенно жуткими для склонных к полноте и борющихся с полнотой посредством молочно-яблочной диеты (раз в неделю). Зимой, пока люди открывали в себе кость за костью, совершалось отчуждение тела, расщепление сознательной воли и тела как явления враждебного внешнего мира. Тело выделяло теперь новые ощущения, не свои. Поднимался ли человек по лестнице (с трудом и в то же время с какой-то новой, мучительной бесплотностью), или нагибался, ища калоши, или вползал в рукава пальто – ощущения были чужие, как бы испытываемые кем-то другим. С истощением отчуждение углублялось. Наконец все раздвоилось странным образом: истощенная оболочка – из разряда вещей, принадлежащих враждебному миру, – и душа, расположенная отдельно, где-то внутри грудной клетки. Наглядное воплощение философского дуализма.

В период наибольшего истощения все стало ясно: сознание на себе тащит тело. Автоматизм движения, его рефлексорность, его исконная корреляция с психическим импульсом – всего этого больше не было. Оказалось, например, что телу вовсе не свойственно вертикальное положение; сознательная воля должна была держать тело в руках, иначе оно, выскальзывая, срывалось, как с обрыва. Воля должна была поднимать его и усаживать или вести от предмета к предмету. В самые худшие дни трудно было уже не только подниматься по лестнице, очень трудно было ходить по ровному. И воля вмешивалась теперь в такие дела, к которым она отродясь не имела отношения. «Вот я хожу, – говорила она, – то есть это, собственно, ходит мое тело, и надо за ним хорошенько следить. Скажем, я выдвигаю вперед правую ногу, левая отходит назад, упирается на носок и сгибается в колене (как она плохо сгибается в колене!), потом она отрывается от земли, по воздуху движется вперед, опускается, а правая в это время уже



успела отойти назад. Черт ее знает! – надо проследить, как она там уходит назад, не то еще можно упасть». Это был преотвратительный урок танцев.

Еще оскорбительнее в своей внезапности бывала потеря равновесия. Это не слабость, не пошатывание от слабости, совсем другое. Человек хочет поставить ногу на край стула, чтобы зашнуровать ботинок; он теряет равновесие в эту минуту, со стуком в висках и замиранием сердца. Это тело выскользнуло из рук и хочет упасть пустым мешком в непонятную глубину.

В отчужденном теле совершается ряд гнусных процессов – перерождения, усыхания, распухания, непохожих на старую добрую болезнь, потому что совершающихся как бы над мертвой материей. Иные из них даже незаметны для пораженного ими человека. «А ведь он уже пухнет», – говорят про него, но он еще не знает об этом. Люди долго не знали, пухнут ли они или поправляются. Вдруг человек начинает понимать, что у него опухают десны. Он с ужасом трогает их языком, ощупывает пальцем. Особенно ночью он подолгу не может от них оторваться. Лежит и сосредоточенно чувствует что-то одеревенелое и осклизлое, особенно страшное своей безболезненностью: слой неживой материи у себя во рту.

Месяцами люди – большая часть жителей города – спали не раздеваясь. Они потеряли из виду свое тело. Оно ушло в глубину, замурованное одеждой, и там, в глубине, изменялось, перерождалось. Человек знал, что оно становится страшным. Ему хотелось забыть, что где-то далеко – за ватником, за свитером, за фуфайкой, за валенками и обмотками – есть у него нечистое тело. Но тело давало о себе знать – болями, чесоткой. Самые жизнеспособные иногда мылись, меняли белье. Тогда уже нельзя было избежать встречи с телом. Человек присматривался к нему со злобным любопытством, одолевающим желание не знать. Оно было незнакомое, всякий раз с новыми провалами и углами, пятнистое и шершавое. Кожа была пятнистым мешком, слишком большим для своего содержимого.

Сейчас тело вышло опять на поверхность. Оно погружалось в воздух, дышало. Это и была передышка.

Вообще все состояло сейчас из трех пересекающихся планов. Где-то в безвозвратном отдалении маячила та жизнь... Она казалась нам крайне неблагоустроенной, когда мы ею жили; а сейчас это было как в сказке: вода, бегущая по трубам, свет, зажигающийся от прикосновения к кнопке, еда, которую можно купить... Существовала память и инерция зимы... Существовала передышка. Передышка в своей непрочности была печальной и нервной.

Пересекаются вещи и жесты, принадлежащие к разным планам. От той жизни гравюра над книжной полкой и на полке глиняный крымский кувшин – подарок. Подарившая сейчас на Большой земле, и воспоминание о ней стало для Эна необязательным и вялым. Зимой в распоясавшемся хаосе казалось, что ваза и даже книжные полки – нечто вроде Поганкиных палат или развалин Колизея, что они уже никогда не будут иметь практического значения (вот почему не жалко было ломать и рубить). Потом вещи начали медленно возвращаться к своему назначению. Эн привыкал к этому тоже медленно и недоверчиво. Это было – как снять валенки. Эн все не вылезал из валенок; ему как-то мерещилось, что валенки – это уже необходимая принадлежность человека. Он дотянул до слякоти, до полной невозможности. И тогда сменил сбитые, заскорузлые валенки на почти еще не ношенные, со свежим скрипом ботинки. Никто вокруг почему-то этому не удивился. А для Эна это было странным и важным фактом – открывшейся возможностью возвращения вещам их первоначального смысла. Он почти еще ничего не читал, но теперь уже стеллажи, вздымаясь над беспорядком сдвинутых стульев, над пустыми и полными банками на краю письменного стола, – уже предлагали вновь выполнять свое назначение. А автоматический жест, которым Эн заводил на ночь часы и осторожно клал их на стул около дивана (зимой часы эти не шли – замерз механизм), был совсем из той жизни. Зато торопливость, с какой люди теперь, ложась спать, сбрасывали с себя все до нитки, – это было от передышки. В этом была жадность и нервность временного состояния перед вто-

рой зимой, думать о которой не хватало храбрости; была в этом зимняя травма неснимаемой одежды.

Обязательно, встав с постели, подойди к окну. Многолетний, неизменный жест утреннего возобновления связи с миром. На заднем плане деревья, поднимающиеся над решеткой сквера, трамвайная остановка на повороте, заваленная теперь кирпичом и бревнами. Трамвайная остановка зазвучала по-новому. Сваливаемые бревна бухают, как артиллерийский разрыв; грузовые трамваи, описывая кривую, поют, как воздушная тревога. Люди у остановки отсюда маленькие и торопливые. Они как россыпь школьников на перемене. Удивительно, как среди них могут быть профессора, врачи, на которых робко смотрят пациенты, ответственные работники.

Год тому назад многолетний утренний взгляд из окна получил новый смысл – стал вопросом, обращенным к миру, и ожиданием ответа. Мир в эти дни мог таить все что угодно, вплоть до самого худшего; и от него хотелось как можно больше свидетельств продолжающегося течения вещей. Трамвай был успокоителем, как голос диктора, объявлявший радиостанцию. Существовал центр, невидимо управляющий красными трамвайными вагонами. Вагоны бежали, центр работал. Рельсы вытекали из него и впадали обратно. Своей дугой каждый вагон был прикреплен к системе, централизован. Сдвинув штору, Эн с облегчением следил, как потрепанный красный вагон, скрипя, огибает угол, послушный центру, ограниченный рельсами, на привязи у дуги.

В час утреннего возобновления отношений мир явственно представлял в своей двойной функции – враждебной и защитной. То, что давило, что гнало, и отравляло, и жгло, – оно же служило защитой или заменителем зла. Оно служило физической защитой и последним прибежищем и покровом среди страха внутренней изоляции.

Таким год назад был мир при первом взгляде в окно. Потом были долгие месяцы, когда мир ушел из окон, покрывшихся слоем льда.

Покоя той зимой не было никогда. Даже ночью. Казалось бы, ночью тело должно было успокоиться. Но, в сущности, даже во сне продолжалась борьба за тепло. Не то чтобы людям непременно было холодно – для этого они наваливали на себя слишком много вещей. Но именно поэтому тело продолжало бороться. Наваленные вещи тяжело давили, и – хуже того – они скользили и расплзались. Чтобы удержать эту кучу, нужны были какие-то малозаметные, но в конечном счете утомительные мускульные усилия. Нужно было приучить себя спать неподвижно, собранно, особым образом подвернув ногу, которая придерживала основу сооружения. Иначе все сразу с неудержимой жестокостью могло поползти на пол. И тогда в темноте, в убийственном холоде придется опять кое-как громоздить сооружение, совсем уже шаткое и негодное. Нельзя было раскинуть руки или приподнять колени под одеялом, или вдруг повернуться, уткнув лицо в подушку. То есть тело и нервы полностью никогда не отдыхали.

В своих квартирах люди боролись за жизнь, как борются погибающие полярники. Утром они просыпались в мешке или в пещере, которую с вечера устраивали из всех вещей, какие удавалось на себя натащить. Просыпались в четыре часа, в пять. За ночь удавалось согреться. А вокруг стоял холод, который будет весь день неотступно мучить – все же люди с нетерпением ждали – даже не утра, потому что утро (свет) наступало гораздо позже, они ждали повода встать, приближаясь к началу нового дня, то есть к шести часам, когда открываются магазины и булочные. Это не значит, что человек к шести часам уже всегда отправлялся в булочную. Напротив того, многие старались оттянуть (сколько хватало сил) момент получения хлеба. Но шесть часов – это успокоительный рубеж, приносивший сознание новых возможностей. В своем роде это был даже лучший момент – хлеб еще весь впереди, но он уже достижимая реальность сегодняшнего дня. Голодное нетерпение пересиливало страх холода. Оно гнало людей из обогретой дыханием пещеры на мороз собственной комнаты. Вставать было легко, легче, чем в той жизни, когда человека ждала яичница, о которой можно было не думать. При-

том упростился переход. Спали почти не раздеваясь; достаточно было поскорее сунуть ноги в валенки, валявшиеся у постели.

Типический блокадный день начинался с того, что человек выходил на кухню или на темную лестницу, чтобы наколоть дневной запас щепок или мелких дров для временки. Ночь едва начинала рассеиваться, и в разбитом стекле лестничного окна стены противостоящих домов еще не желтели, а темнели. Колоть приходилось ощупью, осторожно вгонять в полено косо поставленный топор, потом уже ударяя. Очень плохи были руки. Пальцы скрючивались и замирали в какой-нибудь случайной позе. Рука теряла хватательные движения. Теперь ею можно было пользоваться только как лапой, как культяпкой или палкообразным орудием. Человек напаривал в темноте и сгребал рассыпавшиеся по каменной площадке щепки, зажимал кучу щепок между двумя культяпками, бросал их в корзину.

Потом еще нужно принести воду из замерзшего подвала. Ледяной настил покрыл ступеньки доменной прачечной, и по этому скату люди спускались, приседая на корточки. И поднимались обратно, обеими руками переставляя перед собой полное ведро, отыскивая для ведра выбоины. Своего рода высокогорное восхождение.

Соппротивление каждой вещи нужно было одолевать собственной волей и телом, без промежуточных технических приспособлений. С пустыми ведрами человек спускался по лестнице, и в разбитом окне перед ним лежало суживающееся пространство двора, которое предстоит одолеть с полными ведрами. Внезапная осязаемость пространства, его физическая реальность возбуждала тоску. Странно – эта вода (вообще странно, что бесцветная, быстротекущая вода тяжела, как камень), которая камнем висит на руках, на плечах, вжимает человека в землю, она же, оставляя за собой этажи, легко взбегают по трубам. Водопровод – человеческая мысль, связь вещей, победившая хаос, священная организация, централизация. К человеку повернуто дружеское лицо двуликого мира. Но техника, связь вещей – это общее. Мир, дарующий технику, хочет твоей жизни – за воду, бегущую по трубам, за свет, послушный маленькому рычажку.

С полными ведрами можно отдохнуть на нижних ступеньках. Закинув голову, человек мерит предстоящую ему высоту. В далекой глубине потолок с какой-то алебастровой нашлапкой. Нашлепка приходится как раз посередине прямоугольного висящего зигзага лестницы. Оказывается, лестницы действительно висят в воздухе (если взглянуть – очень страшно), удерживаемые невидимой внутренней связью с домом. Закинув голову, человек измеряет вздыбленное лестничное пространство, сквозь которое ему предстоит собственной волей, собственным телом пронести давящую, как камень, воду.

В течение дня предстоит еще много разных пространств. Основное – то, которое отделяет от обеда. Обедать ведь лучше в ведомственной столовой, где каша больше похожа на кашу. Обедать он побежит по морозу сквозь издевательски красивый город в хрустящем инее. И рядом, и навстречу бегут (или ползут – среднего не бывает) люди с портфелями, с авоськами, с судками, подвешенными к концам палкообразных рук. Люди бегут по морозу, одолевая овеществившееся пространство. Наиболее интеллигентные вспоминают при этом Данте, тот круг Дантова ада, где царствует холод. В столовой тоже будет так холодно, что после улицы пальцы не распрямляются, и ложку приходится зажимать между большим пальцем (единственным действующим) и смерзшейся культяпкой.

Самый обед – это тоже преодоление пространств; малых пространств, мучительно стесненных очередями. Очередь перед дверью, очередь к контролеру, очередь к месту за столом. Обед – нечто мгновенное и эфемерное (тарелка супа, столько-то граммов каши) – был гипертрофирован и заторможен, по классическим законам сюжетосложения. Людей спрашивают – что вы делаете? И они отвечают: обедаем.

Был период многократных, подряд возникающих воздушных тревог. По дороге к обеду приходилось отсиживаться в подвалах или пробиваться сквозь пальбу зениток и свистки мили-

ции. И люди ненавидели спасавшего их от бомбежки милиционера, а бомбежку воспринимали как препятствие на пути к обеду. Некоторые отправлялись обедать часов в одиннадцать утра (обычно это было еще тихое время), возвращались оттуда иногда в шесть-семь.

Некоторые приносили что-нибудь с собой для домашних (если еще были домашние). Дома было совсем темно. Растапливали времянку и при свете дымящей времянки переливали принесенный суп из банки в кастрюлю, разрезали на ломтики граммов сорок хлеба. Потом тот, кто пришел из внешнего мира, где он обедал, – придвигался вплотную к дымящейся и пламенеющей дверце и грел руки. И пока не кончался дневной запас щепок, его ничем нельзя было оторвать от этого наслаждения. В комнате за плечами бушевал холод, стояла тьма. Только у самой дверцы очерчен был маленький круг тепла и света. Круг жизни. Согреть, в сущности, можно было только выставленные вперед ладони. Ладони всасывали пробегающий по ним огонь. Это было безмерное наслаждение, впрочем, отравленное тем, что дневной запас щепок бесповоротно иссякал.

Это было то самое ожидание конца, то понимание неотвратимого иссякания данных нам жизненных сил, которым отравлена всякая радость и самое чувство жизни. Блокадные обстоятельства сделали эту формулу вполне наглядной. А вечно возобновляемое достижение вечно разрушающихся целей они довели до наглядности бега по замкнутому кольцу.

Какими усилиями проталкивал себя человек от одного мучительного действия к другому? Нет, не требовалось особых психологических усилий. Каждое страдание – судки на морозе, ведра на лестнице – было избавлением от худшего страдания, заменителем зла. Утопающему, который еще барахтается, – не лень барахтаться, не неприятно барахтаться. Это вытеснение страдания страданием, это безумная целеустремленность несчастных, которая объясняет (явление, плохо понятное гладкому человеку), почему люди могут жить в одиночке, на каторге, на последних ступенях нищеты, унижения, тогда как их сочеловеки в удобных коттеджах пускают себе пулю в лоб без видимых причин. Страдание непрестанно стремится с помощью другого, замещающего страдания отделаться от самого себя. Цели, интересы, импульсы страдания порождают ряды закрепившихся действий, все возобновляемых и уже не обременительных для воли. Но воля бессильна разорвать этот ряд, чтобы ввести в него новый, не закрепленный страданием жест. Так сложился круг блокадного зимнего дня. И среди передышки это движение, вращательное и нерасторжимое, еще продолжается, постепенно затухая. Люди несут в себе это движение, как травму.

Сейчас, в периоде передышки, когда импульсы страдания не так могущественны и принудительны, для занятий бытовыми делами требуется даже больше душевных усилий. Зато мы не делаем уже какие попало судорожные движения, отыскивая частицу еды, тепла, света. Бег по кругу приобретает отчасти характер режима. Для многих режим, рабочий порядок всегда был недостижимой мечтой. Не давалось усилие, расчищающее жизнь. Теперь жизнь расчистило от всяческой болтовни, от разных заменителей и мистификаций, от любовных неувязок или требований вторых и третьих профессий, от томящего тщеславия, которое гнало людей туда, где им быть вовсе не следовало, но где преуспевали их сверстники и друзья, что, естественно, не давало покоя. Мы, потерявшие столько времени, – вдруг получили время, пустое, но не свободное.

Эн тоже всю жизнь мечтал о рабочем режиме дня и даже считал, что режима не получается только из-за привычки поздно вставать (привычка ленинградцев, если они не связаны ранней службой). Все всегда начиналось с того, что утра уже нет, что уже непоправимо испорчено прекрасное переживание полноты, непочатости предстоящего дня. Все уже все равно было испорчено, и потому Эн с облегчением выпускал себя из рук, и дальше оно уже шло, как придется. Теперь же причинно-следственная связь импульсов и поступков была грубо обнажена и завинчена. Он просыпался в шесть часов, потому что, как и все в городе (кто не дежурил), рано ложился, и сразу вставал, потому что ему хотелось есть или он боялся, что ему захочется есть.

Он делал с утра домашние дела – не сделать их, отложить было бы смерти подобно. Он шел в редакцию, где работал, поскольку по крайней близорукости его не взяли в ополчение и в армию. В определенный час он шел в свою столовую, потому что никоим образом нельзя было пропустить там обед, который, может быть, дадут без выреза талона (в этой столовой так иногда бывало). После обеда он опять шел в редакцию, где еще много было работы. Потом возвращался домой, потому что еще полагалась вечерняя еда, да и идти больше было некуда. Таня уехала, сказав все возможные слова о том, что она уезжает и оставляет его (разумеется, он уговаривал ее уехать) совсем не потому что... а, напротив того, потому что... Друзья и товарищи ушли на фронт или тоже уехали. Он ужинал и сразу ложился, так как вставал в шесть часов, и в десять ему хотелось спать.

Но этот уклад, непререкаемый и точный, в основном управляемый триадой еды, еще не был режимом, но безжизненной схемой режима. Режим существует для чего-то. Эн не чужд дистрофической идее восстановления сил, мотивировавшей всякую всячину, и в особенности тотальное подчинение времени трем этапам еды. Но он уже спрашивает: для чего восстанавливать силы? Он не спрашивал бы, если бы воевал или стоял у станка на заводе. Но он периферия войны, почти слитая с фронтом и отделенная от него иным качеством своей несвободы. В периферийном мире все пока негативно. Даже работа. Даже самая полезная тыловая работа расположена в том же кругу, где еда, где забота об огне и воде. Тяжким усилием воли, привыкшей к однообразной серии жестов, нужно где-то, в каком-то месте раздвинуть круг и втиснуть в него поступок. Если человек умеет писать, то не должен ли он написать об этом и о предшествовавшем. Где-то, скажем, после домашних дел час-полтора (больше не отдаст вращательное движение дистрофической жизни), чтобы писать. Тогда оживут и потянутся к этому часу все другие частицы дня, располагаясь вокруг него иерархически.

Может быть, с утра, на отрезке домашних дел, вынося грязное ведро или прочищая времянку, можно будет обдумывать. Или на ходу, когда идешь в булочную или обедать. В очередях думать невозможно, и невозможно думать или писать после обеда. Это время упадка воли. К вечеру опять становится легче. В часы же послеобеденной режущей тоски вообще не следует думать. Лучше сидеть в редакции и работать (плохо тем, кто не работает, а только ест и голодает) и слушать рассеянно голоса сослуживцев (хорошо, что вокруг голоса!).

Ну а нужно ли писать? А вот нужно ли еще писать? Или один только есть поступок – на фронт! Драться с немцами... Прочее от лукавого.

А увидевшим то, о чем пишущие хотели написать, должно быть, уже никогда не понадобится, чтобы им писали об этом, о чем бы то ни было... Но память не соглашается отступить; она стоит на своем, и забвение стоит на своем. Забвение сохраняет жизнь вечным обновлением сил, желаний и заблуждений. Оно вернет жизни необходимую ей суету сует – после мук плоти и духа столь безмерных, что возвращение казалось уже невозможным.

Тянется, до отказа натягивается резиновая ткань жизни; но вот ослабел нажим, ее отпустили, и резина мгновенно устремилась обратно, к исконным своим пределам и формам. То, что открывается человеку в пограничных ситуациях, – закрывается опять. Иначе, например, люди нашего поколения были бы давно непригодны для дальнейшей жизни.

Не метафизическая субстанция, не сама себе равная душа XIX века, но непрерывная смена ситуаций, вызывающих реакции, рефлексy. Пусть так, но в ситуацию всякий раз попадает некая относительно устоявшаяся система биологических и социальных данных, вступивших между собой в единственное – одновременно и типовое – сцепление (единичный характер), а мы все удивляемся – то неизменности человека (ничего не забыл и ничему не научился), то его изменчивости. Между тем оба начала взаимодействуют. Устоявшаяся система непрерывно приспособляется к переменным ситуациям и непрерывно стремится к своему исходному состоянию.

Толстой понимал обратимость пограничных ситуаций. Он знал, что небо Аустерлица распадается только на мгновение; что Пьер в промежутке между дулом французского ружья и царским казематом будет опять либеральным баринном.

А нам-то тогда казалось... Разумеется, вам казалось: после этого разве возможно когда-нибудь снова болтать, например, о лирическом герое... Да, казалось... но почему, но кем установлено, что дистрофия – реальность, а обыкновенная жизнь – наваждение? Что, раз заглянув в реальность, не захочешь наваждения?

Вот мы и блюдем закон забвения, один из краеугольных в социальной жизни; наряду с законом памяти – законом истории и искусства, вины и раскаяния. О нем Герцен сказал: «Кто мог пережить, должен иметь силу помнить».

Быть может, и Эн дорвется до своего свободного часа, и ему покажется мало. Он будет томиться и перебирать все часы вращающегося дня, чтобы добыть где-то еще полчаса, еще двадцать минут. Чувство потерянного времени – начало выздоровления. Начало выздоровления – это когда в первый раз покажется: слишком долго стоять в очереди сорок минут за кофейной бурдой с сахаринном.

Пока это только мечтание. Пока практически речь идет еще только о том, чтобы рационализировать домашние дела. Вместо судорожных движений найти автоматику движения. Автоматика – правильно решенная задача, и точность решения переживается мускульно и интеллектуально. Все чаще удается теперь поймать правильное движение, – поднимающего ведро или пилящего доску, в одиночку или вдвоем. Пилка особенно безошибочно проверяет движение. Найдено ровное, без нажима, и у пилы, заедавшей, мучительно цеплявшейся каждым зубцом, зубцы вдруг сливаются вместе, и не человек уже водит пилой, а она ведет за собой не делающую усилий руку. И ход пилы, как верный ход всякого механизма, подтверждается верным звуком – ровным, широким и шипящим звуком пилки. Тогда человек вдруг замечает свою позу и чувствует, что это и есть поза пилящего; что он именно так подался вперед, выставил ногу, согнул другую в колене. Он нашел телесную проекцию процесса и потому испытывает удовлетворение.

Утром нужно наколоть на весь день мелких полешек для временки. И когда топор не долбит, а стремительно падает и попадает в самое верное место, и полено легко и сухо раскалывается пополам, – это приятно. Неприятно рубить для временки мебель и видеть под топором знакомые ручки, резьбу, металлическую бляшку, узнавать форму ножи, дверцы. Это вроде того, как хозяйка, распорядившись зарезать выросшую в доме курицу, предпочитает съесть ее в виде котлет: ее беспокоит форма куриного крылышка, лапки.

Потом непременно нужно вынести нечистоты. Это дело жизненной важности, и потому Эн относится к нему по-деловому. Он немного сжимается, как бы пытаясь установить дистанцию между собой и вонючим ведром. Это первый за день выход на улицу, и в нем есть своя прелесть. Это выход из комнаты, окруженной зиянием заброшенной квартиры, комнаты, в которой царят изоляция и не до конца подавленный хаос. Выход в объективно существующий мир...

Летом сорок второго года в городе мало людей и очень мало заводов, и ленинградский воздух по-новому чист. Эн видит гранитный изгиб набережной, узорную решетку, за которой слипшаяся от нечистот, потерявшая цвет и текучесть вода. Ассоциации же у него в этот утренний час какие-то деревенские – от непривычки к городскому лету, от странно чистого воздуха, пустоты, тишины, оттого, что люди почти босиком выходят на улицу с ведрами.

Эн приподнимает ведро над решеткой, быстро, не глядя, опрокидывает все в воду. Чувство облегчения... Чувство облегчения сливается с минутной легкостью жизни. Ветер прошелся по волосам. С физической остротой вспомнилась вдруг деревенская улица, яблони за забором. Он жил там летом подростком; мать по утрам посылала его к соседям за молоком. Ступая в пыли босиком, осторожно, чтоб не расплескать, он несет молоко в кувшине. Главное,



одновременность ощущений: босые ноги топчут нежную дорожную пыль, а в ладонях разогретая солнцем глина.

Да и всегда он любил прекрасные контексты природы. Не природу для любования, но природу, вечно присутствующую и всегда участвующую в любых делах человека. Хорошо сходить умыться на речку; чистить зубы, стоя по щиколотку в воде, а по воде чтобы бежал солнечный свет и на близком другом берегу вздымалась и шумела листва.

Потом в точно установившемся порядке следует выход в булочную или в магазин, если есть выдача. Проходят трамваи, люди идут на работу и в магазин. А город по-прежнему тихий и прибранный – как ни странно.

В свете еще невысокого солнца тепло лоснится асфальт. Хорошо, правильно, что город гордится подметенной улицей, когда по сторонам ее стоят разбомбленные дома; это продолжается и возвращается социальная связь вещей.

Каждодневные маршруты проходят мимо домов, разбомбленных по-разному. Есть разрезы домов, назойливо напоминающие мейерхольдовскую конструкцию. Есть разрезы маленьких разноцветных комнат с уцелевшей круглой печью, выкрашенной под цвет стены, с уцелевшей дверью, иногда приоткрытой. Страшная бутафория аккуратно сделанных, никуда не ведущих дверей. Разрезы домов демонстрируют систему этажей, тонкие прослойки пола и потолка. Человек с удивлением начинает понимать, что, сидя у себя в комнате, он висит в воздухе, что у него над головой, у него под ногами так же висят другие люди. Он, конечно, знает об этом, он слышит, как над ним двигают мебель, даже колют дрова. Но все это абстрактно, непредставимо, вроде того, что мы несемся в пространстве на шаре, вращающемся вокруг своей оси. Каждому кажется, что пол его комнаты стоит на некой перекрытой досками почве. Теперь же истина обнаружилась с головокружительной наглядностью. Есть дома сквозные, с сохранившимся фасадом, просвечивающим развороченной темнотой и глубиной. А в пустые оконные выбоины верхних этажей видно небо. Есть дома, особенно небольшие, с раскрошившейся крышей, из-под которой обрушились балки и доски. Они косо повисли, и кажется – они все еще рушатся, вечно падают, как водопад. К домам появилось новое отношение. Люди стали говорить о домах, думать о домах. Воспринимаемой единицей города стал дом, тогда как прежде единицей была улица, сливающаяся из недифференцированных фасадов. Невнимательные люди увидели вдруг, из чего состоит их город. Он сложился из отдельных участков несравненной ленинградской красоты, из удивительных комплексов камня и неба, воды и листвы, а в остальном – из домов второй половины XIX века с некоторой примесью предреволюционного модерна и коробок первых лет революции. Бездарная архитектура второй половины прошлого века, с боязнь линий и плоскостей, гладкой поверхности и незаполненного пространства, побуждавшей ее каждое свободное место забивать какой-нибудь оштукатуренной бессмыслицей. Теперь мы увидели эти дома облезлыми, стоящими в сырых и ржавых потеках краски плохого качества. В тяжелые осенние дни казалось, что эта ржавая промозглость проступает у них изнутри. Они не обещали ничего хорошего.

К домам появилось новое отношение. Каждый дом был теперь защитой и угрозой. Люди считали этажи, и это был двойной счет – сколько этажей будет их защищать и сколько будет на них падать. Мы познали объемы, пропорции, материалы домов. Восприятие дома стало аналитическим. Он расслаивался на своды, перекрытия, лестничные клетки. Лестничная клетка – это звучало специально и жутковато. Спускаясь по черным лестницам своих жилищ, люди присматривались к каким-то выступам и захламленным нишам, о которых они ничего не знали. Теперь это были укрытия. Как будет лучше, в случае чего, прислониться здесь к правой или к левой стенке? Иногда человек пытался представить непредставимое: эти выступы и ступени, висящие в высоте, действительно в мгновение обрушатся, упадут на голову, на грудь. Лестничная клетка раздавила грудную клетку... Грудная клетка – это тоже специально и жутковато.

Если дом воспринимается аналитически, то восприятие города, напротив того, синтетично. Город уже не серия мгновенных комбинаций улиц, домов и автобусов. Город – синтетическая реальность. Это он, город, борется, страдает, отталкивает убийц. Это общее понятие – материально. Мы познаем теперь город как с самолета, как на карте. Это предметное целое, отграниченное зримой границей. Границу смыкают заставы; границу расчлняют ворота (у города есть двери, как у каждого человеческого жилья). К воротам рвется враг; заставы и ворота не подпускают врага.

Мы снова постигли незнакомую современному человеку реальность городских расстояний, давно поглощенную трамваями, автобусами, такси. Проступил чертеж города с островами, с рукавами Невы, с наглядной системой районов, потому что зимой, без трамваев, без телефонов, знакомые друг другу люди с Васильевского, с Выборгской, с Петроградской жили, месяцами не встречаясь, и умирали незаметно друг для друга.

Районы приобрели новые качества. Были районы обстреливаемые и районы, излюбленные для воздушных налетов.

Иногда переправиться через мост означало вступить в зону иных возможностей. Были районы пограничные, готовившиеся принять штурм. Так увеличивалось значение малых расстояний. Реки города стали военным фактом, мосты через реки с установленными на них зенитками стали военным фактом. Реки расчлняли районы с их особыми качествами. Они были возможной границей. И можно было представить себе войну по районам и между районами.

С начала войны город стал обростать непривычными деталями. Прежде всего, появились крестообразные наклейки на окнах (чтоб стекла не вылетали). Мероприятие это было предложено населению уже в первые дни войны. Среди неустоявшейся тоски этих первых дней, когда новые формы жизни еще не определились, это механическое занятие успокаивало, отвлекало от пустоты ожидания. Но было в этом и что-то мучительное и странное, как, например, в сверкании хирургической палаты, где нет еще раненых, но где они непременно будут.

Кое-кто наклеивал полосы довольно замысловатым узором. Так или иначе, ряды стекол с бумажными полосками складывались в орнамент. Издали, в солнечный день, это выглядело весело. Вроде резных фестонов, которыми украшаются богатые избы. Но все менялось, если в дурную погоду взглянуть в наклейки низко расположенных окон. Желтизна просыревшей бумаги, пятна клейстера, проступающий грязью газетный шрифт, неровно обрезанные края – символика смерти и разрушения, которая только не успела еще отстояться, прикрепиться к крестообразным бумажкам.

Позднее стали заколачивать витрины и окна. Одни забивали окна, потому что вылетели стекла, другие – для того, чтобы они не вылетели. Иногда в дело шли свежие, почти белые листы фанеры, иногда корявые, очень мрачные доски. Заколоченное окно – знак покинутого жилища. Но осенью дома еще не были пусты; трехмиллионное охваченное кольцом население еще наполняло их до краев. В те осенние дни знак заколоченных окон получил ужасное обратное значение – он стал знаком заживо погребенных и погибающих в тесноте, в нем была погребальная символика досок, замурованность подвалов и тяжесть этажей, падающих на человека.

В городе стояла однообразная пестрота подробностей, выразительных, в отдельности разных, но сведенных воедино. В промозглых стенах проступали окна, заделанные свежей фанерой, забитые корявыми досками, заклеенные бумагой – синей оберточной, цветной, газетной, заложенные кирпичом. Иногда в одном окне совмещались секторы фанеры, кирпича, стекла, проклеенного бумагой. Знаки колебались и путались; не успев оформиться, расплывались тягостные ассоциации. Потом уже стало все равно. Окна покрылись льдом. Люди на улице не смотрели теперь на дома. Они смотрели себе под ноги, потому что тротуары обледелели и люди боялись упасть от скользкоты и слабости. Особенно они боялись упасть с наполненными супом судками.

Зимой уже не говорили о затемнении (в тридцать девятом, во время финской войны, о нем говорили много). Света теперь не было, на улицу поздно нельзя было, да и незачем было выходить. Казалось, на улице, даже ночью, не так темно, не так страшно, как дома. Трамваи же (пока они шли), трамваи с синими лампочками казались прибежищем. Там был свет, пусть синий, но свет, были люди, успевшие надышать немного тепла, там деловито огрызается кондукторша... И человек успокаивался, нырнув туда после ожидания на пустынной остановке.

Никто уже не думал о затемнении и о многом другом. Сто двадцать пять граммов, вода из невской проруби, холод, который не отпускал никогда, ни во сне, ни во время еды, ни в часы работы; тьма, наступавшая среди дня и рассеивавшаяся поздним утром; трупы в подворотнях, трупы на саночках, вытянутые и тонкие-похожие больше на мумию, чем на нормальный человеческий труп.

Звук возникал аккуратно, в определенный час – разный для разных периодов этой осени, с отклонениями в пределах получаса. Но, как это бывает, именно тогда человек о нем не думал. Забыв ожидание звука, он спешил до тревоги разогреть на времянке чайник. Звук внезапно отрывался от диска громкоговорителя, заполняя квартиру с комнатами, обитаемыми и необитаемыми. Так начиналась процедура бомбоубежища. Был период, когда вечерние тревоги начинались около восьми часов. Немецкая аккуратность входила продуманным элементом в расчеты психической атаки.

Тревоги были разной продолжительности, частоты, силы, процедура же была до ритуальности однообразна. Люди надевали калоши, пальто. Жаль было недопитого чая, и не хотелось спускаться в холодный подвал. Прислушивались – не будет ли тихой тревоги? – зенитки били чаще и громче. Тогда люди спускались, в темноте ощупывая знакомую лестницу. В подвале у многих были привычные места, там встречали знакомых, разговаривали, дремали, иногда читали, если удавалось пробраться к лампочке; выходили к дверям покурить; ежедневно переживали радостное облегчение отбоя. После отбоя спорили – стоит ли подниматься сейчас или переждать следующую тревогу (в разные периоды были разные данные для расчетов), поднимались, иногда спускались опять; поднимались окончательно, пили остывший чай и ложились не раздеваясь. В ритуальной повторяемости процедуры было уже нечто успокоительное. В последовательность ее элементов входило нервное тиканье репродуктора, поиски калош в темноте, дремотная сырость подвала, самокрутка, выкуренная у выхода, медленное возвращение домой (чем медленнее – тем лучше, на случай повторения сигнала). Но попадание, рушащиеся своды и кровавая каша не входили в этот опыт и потому не казались реальными. Ритуал начинался звуком, сорвавшимся с диска, и кончался возвращением к дотлевающей времянке. Вот почему – вопреки всякой логике – напряжение нервов падало, уже когда человек выходил на лестницу, направляясь в убежище. Это было вступлением в процедуру, – благополучный ее конец проверялся ежедневно на опыте. Многим даже казалось – именно процесс спуска и отсиживания в подвале обеспечивает благополучный исход; им не приходило в голову: на этот раз дом точно так же уцелел бы, если б они остались наверху, в своих квартирах. Их удивило бы это соображение, столь очевидное.

Утром люди узнавали о ночных событиях. Они смотрели на растерзанные дома, на дико растерзанное существование человека, содрогаясь от омерзения перед имевшим здесь место актом. А вечером процедура вступала в свои права.

Иногда в бомбоубежище тянулись тихие, пустые часы. Тогда казалось, что почему-то это уже невозможно, что больше уже не будет. Потом вдруг возникал круглый звук вместе с глубоким содроганием земли.

Собственно, это был именно удар, круглый и тянущий вверх. Но вместе с тем он всегда казался звуком. Люди в подвале подымали головы, чтобы взглянуть друг на друга. «Положил», – говорил кто-нибудь. Мужчины вяло обсуждали – где и какого веса.

Навсегда памятное переживание опрокинутого времени. Неуследимо короткое настоящее, которое для сидящих здесь стало прошлым, прежде чем страхом дошло до сознания; а там для кого-то уже заполнилось огромным, ужасным содержанием, уже стало концом всего или началом долгой муки.

Гипертрофированный обед, ритуальное отсиживание в подвале. Предел несвободы и отрицания ценности человека. Не подвергнуться этому возможно было ценой прямого участия в войне.

Типовое отношение к бомбам, обстрелам, к смертельной опасности несколько раз изменялось, его изменяла судьба города, общегородская ситуация.

В блокадном Ленинграде мы видели всякое – меньше всего боязни. Люди невнимательно слушали свист пролетающих над головой снарядов. Заведомо ждать снаряда, конечно, гораздо труднее; но все знали – полет его слышит тот, в кого на этот раз не попало.

Количественная градация опасности, точнее, вероятность гибели (степень вероятности) имеет решающее психологическое значение. Между гибелью несомненной и почти несомненной – расстояние необъятное. В Ленинграде опасность была повседневной, систематической, в своей систематичности рассчитанной на выматывание нервов, но статистически она не была особенно велика. Проверенная ежедневным опытом опасность от бомбежки и обстрелов уступала огромным цифрам дистрофических смертей. К этой же, медленной, смерти человек проходил совсем другую внутреннюю подготовку. Отношение к снаряду, к бомбе в Ленинграде было, конечно, иным, чем на фронте или чем впоследствии у жителей городов, дотла выжигаемых воздушными налетами.

В Ленинграде мало кто боялся бомбежки, – только люди с особым, физиологическим предрасположением к страху. Бежать скоро стало некуда. Никто поэтому не бежал, и никто не думал: как же это я остаюсь, если все уезжают? Спокойствие стало тем всеобщим и средним уровнем поведения, несовпадение с которым труднее и страшнее реальных опасностей. Чтобы сохранить хладнокровие среди всеобщей паники, нужно быть чуть ли не героем. Но попробуйте кричать и метаться, когда все вокруг делают свое дело, – это требует особой дерзости.

Когда нормально еще работали парикмахерские, мне как-то пришлось застрять в парикмахерской во время тревоги и наблюдать, как обыкновенные девушки под звук зениток продолжали делать шестимесячную завивку, перебрасываясь, впрочем, замечаниями о том, что это очень страшно.

Успешное вытеснение возможно именно потому, что смерть недоступна опыту. Она – абстракция небытия или эмоция страха. В первом случае она принадлежит к числу непредставимых представлений (вроде вечности, бесконечности). Чтобы конкретно мыслить мгновенный переход от комнаты и человека к хаосу кирпича, железа и мяса, а главное, к несуществованию, – нужна работа воображения, превышающая возможности многих.

От большинства ленинградцев художник Х. (хороший художник) отличался страхом перед бомбежками. Он перебрался к знакомым, потому что они жили в нижнем этаже. Дочка их, лет двенадцати, заглядывала к нему, когда он беспокойно ходил по комнате:

«Идемте чай пить. Они сейчас кончат» (они – это немцы). Он отвечал ей: «У тебя нет фантазии, поэтому ты не боишься. Понимаешь, надо быть очень умным, чтобы как следует испугаться».

В той мере, в какой страх смерти есть эмоция, он подвержен всем капризам и непоследовательностям эмоций. Он возникает и пропадает не по законам разума, регистрирующего объективную опасность, но в силу игры импульсов и рефлексов. Здесь я напоминаю вещи, давно уже сказанные. Например, можно проснуться в самое мирное время, у себя в постели, цепенея от ужаса при мысли о неизбежном уничтожении, и можно рассеянно и равнодушно ходить под обстрелом (в одном случае ночная, без помех, сосредоточенность, в другом – отвлечение

внимания). У человека, страдающего философской смертобоязнью, нервы могут быть хорошо приспособлены к специфическим толчкам и свистам – и наоборот.

Легче иногда, идя на смертельную опасность, не думать о смертельной опасности, нежели идти на службу и не думать о полученном выговоре в приказе. Нет другой области, в которой с такой наглядностью обнаруживалась бы мощь социального давления.

С древнейших времен и до наших дней слово «трус» – магическое слово. Можно бояться насморка, но смерти бояться стыдно. Как удалось внушить такое человеку, с его волей к самосохранению, воспитать его в этом? Вероятно, удалось потому, что иначе существование общества, государства вообще невозможно и сюда была брошена вся сила внушения.

Вот рассказ М., женщина средних лет; в начале войны она работала в каком-то ленинградском учреждении машинисткой. Постепенно все уезжали. Ее учреждение, как и некоторые другие, формально еще функционировало. С начала войны у них были заведены ночные дежурства сотрудников в кабинете директора – на всякий случай. Восьмого сентября дежурила М. Каждый раз, около 20 часов, немцы педантически напоминали о себе безрезультатной тревогой. Это стало уже распорядком дня. М. взяла с собой книгу; потом можно будет прилечь на диване, подремать до утра. В 20 часов – тревога. Это привычно; кончится, и можно будет прилечь. Но вдруг что-то новое, никогда не испытанное. Не то звук, не то толчок, звук – он же толчок. Тяжело содрогнулся пол, на потолке закачалась лампа. Еще, еще раз. Если бы не затемнение, было бы видно зарево Бадаевских складов, горевших с хлебом Ленинграда. Первые бомбы первой бомбежки падали поблизости от учреждения. Учреждение было сугубо штатское и в те дни уже никому не нужное. Но дежурный должен дежурить у директорского телефона на случай – чего? – вероятно, указаний. М. стояла посреди кабинета; тремя этажами ниже помещалось бомбоубежище. Опять содрогнулся пол. А на суконно-бронзовом директорском столе молча стоял телефон. Уход от него – трусость, антигражданственность. Мысли о трусости, боязнь обнаружить трусость и одновременно мысль о никому не нужной опасности так всецело ее занимали, что настоящий физический страх она не успела почувствовать. Она вышла на площадку внутренней лестницы и вернулась, вышла еще раз и вернулась, чувствуя, как смертный страх, самозащита крепко зажаты оцепенением. В директорском кабинете нервно тикало радио. Защищаясь от одиночества, от какого-то нового качества тоски, М. бесцельно сняла телефонную трубку. Соединения не последовало. Абсолютная беззвучность – значит, линия где-то уже повреждена. Тогда она сошла вниз. У входа в убежище теснилось несколько человек. Один с наскоро перевязанной головой. Это прибежали с соседней улицы, из первого разбомбленного дома. По коридору сновал сослуживец, начальник местной дружины ПВО. Он готов был ко всему, в том числе к смерти. «Почему вы не на местах? Все по местам! Вы что здесь делаете?» – «Телефонная связь прервана...» Но он не слушал ее, он кричал, пробегая дальше по коридору. Он вообще не имел права ей приказывать, никто не мешал ей спуститься в подвал. Но она не спустилась. Дом опять дернулся и содрогнулся. Она медленно поднялась вверх, в директорский кабинет и потрогала рукой неживой телефон. Дотронувшись до телефона, вспомнила, что нельзя позвонить домой (в сентябре еще действовали частные телефоны), что муж, может быть, уже знает, что бомбили в этом районе. Стало тихо. Почему-то часто мигал потускневший свет. Она медленно спустилась по лестнице. Не в убежище, а так – постоять в нижнем коридоре.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.